

Алексей Рыбаков

Послесловие

Интервью, представленные в этом сборнике, возникли в рамках проекта, поддержанного Баварской исследовательской ассоциацией по изучению Восточной Европы («Форост»). В центре внимания проекта стоял вопрос о шансах и перспективах «автономного» развития российской культуры, не зависящего от внешнего – государственного или «антигосударственного» – целеполагания. Одним из существенных различий между западноевропейской и русской культурной ситуацией можно считать то, что идея автономного развития культуры, утвердившаяся на Западе, приблизительно, в течение 18-го века, в России оказалась в значительной мере вытесненной утилитаристскими моделями культуры. Культуре вновь и вновь вменяли в обязанность – лучше всего это видно на примере искусства – «служить» государству или «народу», зачастую не отделимому от государства, будь то в консервативно-«патриотическом» или в радикально-«народническом» смысле. Представление об «автономии искусства» в том виде, как оно наиболее отчетливо сформулировано у Канта, Шиллера и не в последнюю очередь у Карла Филиппа Морица, то есть, говоря в самом общем смысле, в немецкой классике, в России так и не смогло утвердиться.

Одной из целей проекта было показать, что эта, назовем ее так, «автономная культурная парадигма» хотя и не доминирует, но все же представлена в русской истории, по крайней мере как альтернативная линия, отступающая от преобладающей традиции. Она берет свое начало от Карамзина, достигает апогея при Пушкине и проходит более или менее подспудно через весь 19-й век, чтобы опять выйти на поверхность в период «серебряного века». Не вдаваясь в детали этой проблематики, хочу указать на свою статью «Автономная культурная парадигма в русской истории»¹, в которой не в последнюю очередь обсуждаются также и трудности, связанные с такой постановкой вопроса.

С этой традицией я скорее всего могу отождествить и самого себя (думаю, что после всех многочисленных интервью, имеющих сугубо личностную форму, я могу себе позволить продолжать в том же тоне). Более того, для многих людей моего поколения (я 1960-го года рождения) это было прямо-таки жизненной потребностью и актом внутреннего освобождения – занять позицию, отступающую от господствующей российской традиции (ее можно охарактеризовать как традицию русской интеллигенции, со свойственными ей фиксацией на социальной проблематике и обожествлением «народа»). Ибо мы не хотели быть ни «совет-

¹ Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2002. № 2.

скими» – это ни в коем случае! – ни *proprie dictu* «антисоветскими». Как это ни парадоксально, и те, и другие могли опираться, хотя и с разными обоснованиями, на одну и ту же традицию, а именно, на традицию радикальной русской интеллигенции, как она описана и подвергнута критике, между прочим, в сборнике *Vexi*.

Эта альтернативная линия, с которой я могу себя отождествлять, имела два кульминационных пункта: время Пушкина – так называемый «золотой век», а затем «серебряный», причем в последнем названии, конечно, нельзя не заметить некоего ограничения. Эти названия говорят о том, что обе эпохи признаны как апогей не только теми, кто отождествляет себя с той линией, которую я постулирую, но они считаются таковым и в общественном сознании в целом. Удивительно: каким бы социально-релевантным не было русское сознание «в целом», какому бы морализаторскому и нигилистическому утилитаризму оно не ставило себя на службу, эти относительно кратковременные периоды передышки, «бесцельности», свободы и праздности этим же сознанием воспринимаются как «райские времена». Они резко выделяются на фоне последующих времен: с «серебряным веком» это очевидно (катастрофа 1917 года быстро и жестоко положила ему конец), с «золотым» это на первый взгляд не столь заметно. Однако и в этом случае мы имеем дело с четко обозначенной границей. Подобно тому как в Германии, по словам Генриха Гейне, смерть Гете положила конец «периоду искусства» (*Kunstperiode*), так и в России переход от «пушкинского» периода к «гоголевскому», если прибегнуть к терминологии Белинского, обозначает может быть еще более радикальный исторический разрыв. Как известно, только начиная с Гоголя русская литература приобретает те черты, которые часто, пожалуй даже слишком часто, причисляют к ее основным чертам, прежде всего ее «пророческую» и назидательную позицию. Поэт становится «больше чем поэтом», носителем социальной функции, «воспитателем» своих современников. От этого «более чем» *мы* и стремились освободиться, равно как и от связанных с этим представлений о художественной деятельности как «миссии» и «служении»; обращение к «периодам искусства» в русской истории напрашивалось при этом само собой.

В своей книге *Русская идея* Николай Бердяев, человек «серебряного века», охарактеризовал «золотой век» как единственную эпоху в России, имевшую «ренессансный характер»; однако и в связи с «серебряным веком» говорят о Ренессансе (прежде всего о так называемом «религиозно-философском Ренессансе», но это понятие употребляют и в других смыслах). Таким образом, эти две «ренессансные эпохи» составляют два великих исключения по сравнению со следующими за ними, то есть, с преобладающими в русской культуре моделями, которые ни в какой мере не могут считаться «ренессансными».

Эти соображения легли в основу двух первых вопросов, с которыми мы обратились к нашим респондентам: вопросы о «традиции», с которой себя отождествляет тот или иной респондент, и о «вершинах» в истории русской культуры. При этом я вовсе не ожидал, что кто-нибудь назовет «традицию», которую я очертил –

как таковая она не присутствует в общественном сознании. Нечто подобное прозвучало в ответах лишь на периферии, как намек, когда, например, Алексей Парин говорит о «дворянско-аристократической линии» русской культуры, или Анатолий Ахутин ставит Пушкина в «центр всей русской культуры». В остальном называют совсем другие «традиции», более, так сказать, «традиционные традиции», будь то традиция русского реализма 19-го века, так называемой «классической русской литературы» с ее высоким «моральным пафосом» и другими атрибутами, или в определенной мере противоположная традиция авангарда двадцатых годов 20-го века.

Неожиданными были скорее многие ответы на второй вопрос. Если большинство в той или иной форме упомянули «серебряный век» – немалое число отвечавших назвало его очевидной «вершиной» – то о «золотом веке», времени Пушкина, во всех интервью почти ничего не говорится. Это означает, в первую очередь, что время Пушкина воспринимается большинством отвечавших не как время «само по себе», а вместе с остальным 19-ым веком. Только трое респондентов (Алла Демидова, Алексей Парин и Анатолий Ахутин) составляют здесь отрадное (с моей точки зрения) исключение. Очень наглядно и убедительно характеризует Пушкина Ахутин: «это такой странный центр всей русской культуры, который почти не принадлежит этой культуре, поэтому и центр». Парадоксальное положение Пушкина, тесное переплетение его принадлежности и непринадлежности к последующим русским традициям находит яркое выражение в этих словах.

Если смотреть с чисто хронологической точки зрения, то вслед за «золотым» и «серебряным» веком должен наступить «бронзовый», причем в наше время, или в ближайшем будущем, так как оба первые состоялись в начале соответствующего века. До сих пор ничто этого вроде бы не предвещает. Все 30 респондентов говорят об отсутствии великих произведений искусства и значительных художественных направлений. Но по крайней мере *одна* предпосылка возможного культурного расцвета все же создана – благодаря исчезновению давления со стороны тоталитарного режима. Ведь распад Советского Союза означал не в последнюю очередь исторический шанс, в том числе и в области культуры. На мгновение даже показалось, что старые формы мышления в массе своей отошли на второй план и что свободная от идеологии, именно «автономная» культура наконец-то сможет возобладать. Сколь безрадостной ни кажется во многих отношениях современная культурная ситуация, ни один из респондентов не упустил случая высказать свою положительную оценку обретенной свободы. Но с другой стороны, ответ на наш третий вопрос – о последствиях краха коммунизма для культурной жизни страны – в сильной степени зависит от ответа на два первых вопроса. Не удивительно, что прежде всего сторонники традиционных русских представлений об общественной, воспитательной и смыслообразующей функции искусства, и в особенности литературы, больше других склоняются к подчеркиванию отрицательных сторон нынешнего положения.

Для такого рода литературы и в самом деле требуется прежде всего сильное давление извне, которое она должна преодолевать, и именно в этом преодолении она формируется. Если же внешнее давление, цензура, противостояние власти имущим и героический пафос отпадают, то она утрачивает свою роль и остается, так сказать, не у дел. Немало наших респондентов это признают без обиняков. И тогда внешнее давление (цензура) предстает во многих ответах как нечто положительное; лишь немногие отдают себе отчет в том, что литературе, испытывающей потребность во внешнем давлении для своего творческого развития, явно недостает чего-то существенного. Логично, что при этом смазывается, а то и вовсе не замечается разница между давлением со стороны (тоталитарной) государственной власти и давлением свободного рынка. «Если не власть цензуры, то власть денег» (Андрей Волос); одно оказывается с такой точки зрения не хуже и не лучше другого.

Конечно же, я далек от мысли отрицать (мягко говоря – проблематические) последствия нынешнего «хищнического» капитализма в России; но подлинные проблемы страны, особенно в области культуры, лежат, как мне кажется, совсем в иной сфере – прежде всего в наметившемся возврате к старым структурам, образцам поведения и мышления, что особенно заметно со времени избрания Путина президентом. «Власть денег» меня в общем-то не пугает, пугает то, что ей на смену может прийти «власть цензуры». Кажется, что исторический шанс модернизации России опять – в который раз! – упущен, вездесущее государство вновь вернуло себе свою традиционную роль, тенденцию к реидеологизации общества (под знаком «великорусской», «национально-имперской» идеи) трудно не заметить. Однако многие «авторы» нашего сборника, кажется, вовсе не считают такое развитие опасным, скорее наоборот, оценивают его как что-то, внушающее надежду. Лишь немногие говорят о началах новой «советизации» (Алексей Парин), о «подмораживании» России (Владимир Сорокин), о новой идеологизации и готовности государства финансировать «помпезную», «имперскую» культуру (Анатолий Ахутин). Это те авторы, которые, в отличие от подавляющего большинства респондентов, выступают за полное разделение государства и культуры. Остальные не только не отвергают государственной «опеки» в области культуры, но прямо-таки требуют ее. Русское слово «опека», которое мы использовали в соответствующем вопросе, имеет двойственное значение, и на это мы сознательно делали ставку. Оно означает и «помощь», «протекцию» (например, в форме финансовой поддержки), и покровительство, куда как часто лишающее опекаемого его прав и самостоятельности. Надо сказать, что большинство опрошенных старались провести различие между первым и вторым значением, подчеркивая, что для них желательна именно и только помощь, поддержка. Но тот факт, что (финансовая) поддержка культуры со стороны всемогущего и идеологически активного государства едва ли возможна без одновременного «покровительства» с его стороны, осознают, как мне кажется, лишь немногие (например, Ольга Седако-

ва). Конечно, и в этом случае тоже нельзя не заметить связь между ответом на данный вопрос и общей позицией того или иного «автора».

Два следующих вопроса – о соотношении «элитарности» и «народности» и вопрос о служении – имеют, по крайней мере с моей точки зрения, провокативный характер. Особенно «народность», как и вообще «народ», являются для меня скомпрометированными понятиями, излюбленными словами из словаря тоталитарных систем; поэтому я был рад ответам, в которых данный вопрос отклоняется. Их было немало: Ольга Седакова, Михаил Красилин, Александр Соколов, Алексей Парин, Анатолий Ахутин. То же самое относится и к понятию «служение»; и здесь я радовался тому, что многие не могут отождествить себя с этим понятием. Как я уже говорил, для меня и моих единомышленников отказ от столь типичного для России понимания собственной деятельности как «служения» или «миссии», понимания, которым бесконечно злоупотребляли советская пропаганда и идеология, был очень существенным; «наше» писательство было для «нас» нашим «личным» делом; «художник» в «наших» глазах имел (или мог иметь) «судьбу», но ни в коем случае не «миссию». Конечно, можно смотреть на все это по-другому; поэтому не удивительно, что некоторые респонденты, с которыми я в остальном почти всегда был согласен, ответили на этот вопрос совсем иначе.

Крах советской системы и снятие «железного занавеса» вновь поставили российскую культуру, после многих десятилетий изоляции, в общеевропейский или, скорее, в общемировой контекст. Но и сам этот контекст находится под знаком так называемой «глобализации», при том, что это понятие, по крайней мере применительно к культурной проблематике, кажется мне не столько понятием с конкретным и серьезным содержанием, сколько довольно-таки бессодержательным модным словом; именно поэтому оно хорошо подходит для того, чтобы «подслушать» отношение респондентов к открытию границ страны и ее «встрече» с Западом. В ответах на этот (восьмой) вопрос мне бросилось в глаза – наряду с очевидным фактом, что чем «традиционней» остальные воззрения и установки отвечавшего, тем сдержаннее его позиция в отношении «широкого мира» – весьма частое противопоставление «культура – цивилизация» (в его шпенглеровском значении). «Подлинная» русская «культура» растворяется в «ненастоящей», «американизированной», «глобализированной», «медиаальной», «виртуальной» – далее следуют прочие уничижительные эпитеты – «цивилизации»; перед нами мыслительная фигура, имеющая, как хорошо известно историкам идей, длительную предысторию в России, фигура, чье сходство со многими «радикальными» и «фундаменталистскими» идеологемами, распространенными в «третьем мире», трудно не заметить.

Хорошо известно и то, что в русской православной церкви достаточно сил, симпатизирующих такого рода антицивилизаторскому, славянофильски окрашенному ходу мысли; альянс между государством, ищущим «новую» (она может оказаться весьма «старой») «национальную» идеологию, и находящейся под

влиянием антизападных сил церкви, может, как подчеркнули многие авторы, дать весьма пагубные плоды. Но в некоторых интервью представлены и противоположные позиции, вполне положительное отношение к попыткам государства найти «в церкви» «национальную идею», объединяющую и вдохновляющую народ (например, у Татьяны Шутовой); в общем же эта проблематика наталкивается скорее на незаинтересованность и ощущение собственной непричастности. Также и в отношении дальнейших перспектив русской культуры в общем преобладает та же неопределенность, что и в отношении ее настоящего состояния; симптомы многообещающих тенденций развития и в самом деле не заметны. Отрадно, что взгляд большинства авторов остается трезвым. Лишь очень немногие выражают надежду на некую «новую», «вдохновляющую» и «животворящую» (Вадим Абдрашитов) идею, либо связанную с церковью, либо нет, которая вновь должна объединить «всех нас». Если в заключение мне будет позволено высказать мою собственную надежду, то она, конечно же, заключается не только в том, что никто такую идею *не найдет*, но прежде всего в том, что в России вообще будет наконец покончено с поисками такого рода «объединяющих национальных идей». Надеяться, как известно, можно всегда.

Перевод с немецкого.